

Бахыт Кенжеев



ОСЕНЬ В АМЕРИКЕ





Рецензент газеты "Русская мысль" писал о стихах БАХЫТА КЕНЖЕЕВА: "Его поэзия свободна от изысканного элитарного интеллектуализма, от авангардистских игр с формой, более занимательных для славистов-структуралистов, чем для читателей, для которых встреча со стихами – свидание с неожиданно пронзительными сторонами жизни". Другой критик в американском журнале "Мировая литература сегодня" приветствовал выход первого сборника Кенжеева "Избранная лирика" (1984 год) и говорил об эстетическом удовольствии, доставляемом ему его стихами. Предлагаемый читателю второй сборник талантливого русского поэта (ныне живущего в Канаде) включает в себя стихи, написанные в период между 1982 и 1988 годами.

**Бахыт
Кенжеев**



**ОСЕНЬ В
АМЕРИКЕ**

Стихотворения 1982 — 1987

ЭРМИТАЖ

1988

Бахыт КЕНЖЕЕВ
ОСЕНЬ В АМЕРИКЕ
Сборник стихотворений

Bakhyt Kenzheev
OSEN' V AMERIKE
("Autumn in America." Collection of poems)

Copyright © 1988 by Bakhyt Kenzheev

All rights reserved.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Kenzheev, Bakhyt.
Osen' v Amerike.

Title on verso of t.p.: Autumn in America.

I. Title. II. Title: Autumn in America.

PG3482.6.E43084 1988 891.71 88-24305

ISBN 1-55779-006-X (pbk.)

Оформление художника Анатолия КРЫНСКОГО
Cover design by Anatoly KRYNSKY

Published by HERMITAGE
P. O. Box 410
Tenafly, N. J. 07670, U.S.A.

Душа моя тянется к дому. И видит — спасения нет.
Оно достается другому, однажды в две тысячи лет.
И то — исключительно чудом, в которое Томас, простак,
не в силах поверить, покуда пробитого сердца в перстах
не стиснет. И ты, собеседник, как в черную воду глядел,
в созвездиях, в листьях осенних, когда мы с тобой не
остались. Состарилось слово, горит, превращается в дым.
Одним в полумраке багровом рождаться. А что же
другим?

Такая вот очередь, милый. Любители жизни живой,
сойдясь с неприкаянной силой, назвали ее роковой,
придумали свет за оврагом, прощальную чернь в серебре,
врагом называли и другом осиновый крест на горе.
А пламя колеблется, копоть пятнает высокую речь.
Разорванного не заштопать, и новой заплате не лечь
на ветхую ткань золотую. И с прежним душевным трудом
мы странствуем, любим впустую, второго пришествия
ждем.

А где-то есть край окаянный, где гвардия ищет с утра
запомнивших треск деревянный и пламя другого костра.
Оливы рассветные стынут, нужды никакой в мятеже.
Но каменный диск отодвинут и тело исчезло уже.
А где-то есть край богомольный — черемуха, клевер, осот.
Проселками вор сердобольный пропавшее тело несет.
И в поле у самой границы ночует, и стонет во сне —
Опять ему родина снится, как раньше мерещилась мне.

А шелест воды нескончаем. Холодные камни блестят.
Послушай, ты так же случаен, как этот глухой водопад.
А что не убьют и не тронут, что лев превращается в мед,
то канет в крутящийся омут, непойманной рыбой
плеснет,
и там, за железной дорогой, у самой стены городской,
блеснет грозовой тревогой, кольнет bestолковой тоской,
и ясно прошепчет — берите и горы, и ночь, и погост,
где дремлет душа в лабиринте огромных, внимательных
звезд.

Вермонт, август 1987

I

Ну что молчишь, раскаявшийся странник?
Промок, продрог?
Ты — беженец, изгой, а не изгнанник,
И не пророк.

Держись, держись за роль в грошовой драме,
Лишь вдохновения не трать.
Лицом к лицу с чужими городами
Учись стоять.

А если смерть, и нет пути обратно,
Давай вдвоем
Мурлыкать песенку о невозвратном,
Читай — родном,

О тех краях, где жили — не тужили,
Перемогая страх,
Где небольшие ангелы кружили
В багровых небесах,

И на исходе грозного заката
Рождался стих,
И пел, и улыбался воровато
Один из них. . .

Осень в Америке. Остроконечные крыши крашены суриком, будто опавшие листья кленов и вязов. На улицах чище и тише, чем в лихорадочных снах. По движениям кисти

видно: художник не спит за своей акварелью. Ратуша, голуби, позеленевшие шпили трезвых соборов. Прохожий не грустен, скорее просто задумчив. Письмо ли потеряно — или

жизнь, что обрывок газеты, под ветром несется? Или и впрямь настоящее — только цитата из неизвестного? Полно отыскивать сходство между чужим и своим, уязвившим когда-то

и отлетевшим. Давай забывать его с каждым взмахом ресниц, даже если по-прежнему жаждем нового света. Отпели, пора и на отдых. Слышишь, как тихо в подземных звенит переходах

старая музыка? Господи, чуть ли не "Let It Be." Заливается, крепнет в ушедшей улыбке. Холодно, сухо. . . Любить эту песенку, этот свет, безошибочный лад электрической скрипки. . .

Местным жителям вряд ли заметно,
как брожу этим городом я.
Зеленеют его монументы —
генерал, королева, судья.

Небоскребов особенных нету,
и уньиния нету ни в ком.
На террасах дельцы и поэты
попивают чаек с молоком,

а возможно, и что-то покрепче.
Хорошо мне на воле. Судьба
улыбнулась, и каяться не в чем,
смертный пот вытирая со лба.

Слезы, проводы, рев самолета.
Повезло — по заслугам и честь.
Есть в разлуке от гибели что-то. . .
Перестань. Разумеется, есть.

Ах, товарищи, будем попроще,
как-никак, на дворе листопад,
обнаженные хмурые рощи
в беспокойное небо глядят,

и ученый по радио в среду
уверял, восхищенно дыша,
что по смерти, травинкою к свету,
вылетает из тела душа.

Распевает и пляшет, ликуя,
Ей — везение, сердцу — хана.
И на жалкую участь земную
с недоверием смотрит она.

Эти лекции Бога не сердят,
даже, может, слегка веселят,
если после клинической смерти
отпускал он кого-то назад.

А советский коллега упорен,
он сплеча говорит: извини,
о моих пациентах поспорим,
ни шиша не видали они. . .

Добрый вечер — или утро?
Здесь приносят почту днем.
Вскакиваешь поминутно,
Сердце ходит ходуном

В ожидании посланий,
Фотографий, телеграмм. . .
Огонек болит в тумане,
Все на свете снится нам,

Даже эта заграница —
Сон и только. Вещий сон.
Тихо-тихо в дверь стучится
Бородатый почтальон.

Или в норке мышь скребется?
Или просто листопад?
В темноте на дне колодца
Звезды мертвые лежат.

И чего я жду, чего я
Дожидаюсь, Боже мой!
Пораженные чумою
Знай сражаются с чумой,

И не верят в жизнь вторую,
Монастырскую сестру,
Задыхаясь и пируя
На кладбищенском ветру,

И опять я напрягаю
Слух — но крик уже затих,
Только эхом созывая
Всех, оставшихся в живых. . .

Утонул в тумане отчий дом.
Затянуло память первым льдом,
А за ним пойдет второй, и третий.
Засыхай, репейник, на корню,
Никого в разлуке не виню,
Разве только воду, землю, ветер,

Разве только выцветший огонь
Фонаря, упавший на ладонь,
Высветивший линию кривую.
Напророчил что-то, нагадал,
И ушел в полуночный провал,
И погас, печалься и ревнуя.

Старыми бумагами шурша,
Словно мышь, шевелится душа,
Даже свечки восковой боится.
Скоро, скоро тонкой догореть,
Звездам — жить, а сердцу — умереть,
И навряд ли заново родиться.

Снятся ли сны? . . В переулках оставленных сыро,
ветер на Пушкинском, ветер на Звездном бульваре.
В дверь колочу кулаками, в свою же квартиру
силюсь пробраться — не слышат, не открывают.

Сны мои, сны, — словно пригоршню уличной соли
сыплют на рану. Ах, Господи, в здоровом уме и
памяти трезвой, ну кто бы по собственной воле
рвался туда, где бывало гораздо большее,

злей, беспросветней, где виделись только обиды?
Крепкие двери казенным железом обиты,
новый жилец, против всех человеческих правил,
волчи капканы там вместо запоров поставил.

Выйду на улицу — воздух слоистый прохладен,
как у стекольщика в ящике — блещет, двоится.
Это мой дом, — вывожу аккуратно в тетради,
это моя ро. . . а дальше — пустая страница,

дальше — косая линейка, лиловая клетка,
столбики цифр, и опять я в разлуку не верю,
и до утра, на манер обезьяньего предка,
все колочу, колочу в бесполезные двери. . .

Ни месяца, ни звезд в оконной яме.
Сплошная канцелярская возня
В приемной вечности, с ее секретарями,
Просителями. . . только у меня
Осталось мало времени, а силы
И вовсе нет. . . и ты меня простила,
А я — тебя. Давно уже. Молчи.
Позвякивают медные ключи,
Шестой этаж, натянута дверная
Цепочка. Уходи. Не понимаю
И не могу. И лестничный провал.
Я десять лет об этом горевал,
Не узнавал, раскаивался, вышел
На улицу, бегущую к реке,
И оклика вдогонку не расслышал.
Кто виноват? Молчи. Накоротке
С загробной немотой, я снова, снова
В нелепом сне спускаюсь наповал
По безобразной лестнице. Ни слова.
Я десять лет об этом горевал,
Я сам погиб, я вовремя не выкрал,
Не выкрикнул навстречу февралю,
Что время жить, что проигрыш отыгран. . .

Все позади. И я тебя люблю.

Кто же меня обзывал мещанином? Похоже,
друг мой Гандлевский, в чаду многолетнего спора.
Ох, я и вправду не слишком духовен, Сережа.
Мало читаю, мечусь, и меняюсь нескоро.

Дай оправдаться разлукой, биноклем стократным,
пятнами света на сумрачной сцене, прологом
к самопознанию. Трудно в ее невозвратном
черном огне. Поневоле поддашься тревогам

самым земным. Наблюдается фора, однако,
в виде отечества — даром ли мы, россияне,
и без второго пришествия съели собаку
в эсхатологии и богословском тумане.

Вечер. Октябрь. На углу, где табак и газеты,
некто небритый торгует гашишем. Устало
сердце колотится. Писем по-прежнему нету.
Глядь — а под дверью цветная реклама журнала

„Армагеддон”. Принесли и ушли, адвентисты.
Нету на них ни процесса, дружок, ни посадки.
Сей парадиз, обустроенный дивно и чисто,
тоже, как видишь, имеет свои недостатки.

В детстве мечтал о страховке — отличное дело!
Где-то на Зубовской эта реклама горела
Желтым неоном, и лужа ее отражала,
Зыбкое нечто сулила на случай пожара.

Даже в подвальной отчизне, колючей и жесткой,
Снились другие огни городскому подростку.
Не миновало — окрасилось черным и алым,
Синим вином на похмелье мирском заиграло.

Жизнь, между тем, продолжается. „Славное дельце,
Экое свинство,“ — бормочет жена погорельца.
„Где же ваш полис?“ — подходишь с участием к даме.
„Нету, — горюет, — сгорел с остальными вещами.“

Много ль имущества? Книги, бумаги, копирка,
Старый набросок к проекту блошиного цирка,
Письма, стишок о свидании полузабытом,
Глиняный ангел, колечко с глухим малахитом. . .

Вот и светает. Старик пробирается нищий —
Покопошиться на теплом еще пепелище.
Ладно, не тронем, хоть сами поруться могли бы.
Бог с ним, убогим. Живем. И на этом спасибо.

За ледяною, глубокой Летой
не так уж трудно уразуметь,
что в незапамятной жизни этой
бывало всякое, даже смерть.

Когда смеркалось в открытом поле,
и влажным снегом играла тьма,
грустил и ты о своей неволе,
и утешала тебя зима.

А я любил — городские ночи,
однообразные фонари,
неярких звезд молодые очи
и ясный, злой огонек внутри,

готовый выплеснуться наружу,
лисой затравленною завывать,
и мировую седую стужу
на два мгновенья — остановить.

Пустое дело — считать потери.
Да и бухгалтер — несвеж, небрит.
Но где-то в поле судьба в метели
стальной проволочкой горит.

С.Г.

Привет тебе, Сергей. Я старый плагиатор,
сворю и теперь излюбленный размер
бродяги грустного, с которым мы когда-то. . .
Всего не вспомнишь, милый. *A la guerre*

comme a la guerre. Прифронтовому братству
я цену знал — но вечная война
не по зубам иным. И вот — сумел убраться
черт-те куда, в другие времена.

Ты выйдешь к электричке, и собаку
отпустишь с поводка. Глубокие следы
оставишь на снегу. Прислушаешься к мраку,
сиянию звезды, свечению беды.

Зайдется поздняя железная дорога
тяжелым грохотом. Заветная тетрадь
почти пуста. Застынем у порога.
Есть время жить и время умирать.

Не злись — я не хочу заморскою вороной
ни каркать, ни учить, тем более, что сам
знай карандаш грызу, как тот приговоренный,
все жалобы строчу по разным адресам.

Как бишь его — ты помнишь? — он однажды
советовал страдать для бойкости пера.
Ты — хмыкал, я — кивал, несчастий крупных жаждал,
и вот достукался. Пришла моя пора.

Пришла моя зима за морем-океаном,
замерзли реки, и багровый свет
над городом встает — но радоваться рано,
печален я и нем. Со мною друга нет.

В подвале тишина. Вступаю в жизнь вторую
не зажигая света — потому,
что жду наощупь, думаю вслепую,
и падаю, и падаю во тьму —

там меркнет день, в подветренной России
уже, наверно, полночь. Сыплет снег.
Несутся поезда холодные, пустые,
и на платформе слышен женский смех. . .

П. О.

Глубоководною рыбой, хлебнувшей свободы,
света и воздуха, к давней любви и раздорам
я возвращаюсь. По-моему, Долгие Броды —
так называлось село. Над Серебряным Бором

солнце садилось. И весело было, и жутко
в бездну с балкона склонившись, высмеивать осень.
Было, да сплыло. Грущу вот, дымлю самокруткой.
Так, понимаешь, дешевле — процентов на восемь.

Что до семейных забот, они в полном ажуре.
Мальчик здоровый, хотя и родился до срока.
Пью молоко. Помогаю супруге Лауре
в смысле размера и рифмы у раннего Блока.

Там, доложу тебе, пропасть щенячьего визга.
Позже опомнится, будет спиваться, метаться. . .
Тема России. Частушки. Варяги. „Двенадцать”.
Пытка молчанием. Смерть. Запоздалая виза

Наркоминдела на выезд в Финляндию. . . носит
нашего брата по свету, все к гибели тянет. . .
В дверь постучит незнакомая женщина, спросит,
где предыдущий жилец — и исчезнет в тумане.

Отошли осенние распродажи,
разорилась лавочка — крах, банкротство! —
и хозяин, злясь, маргарином мажет
подгоревший хлеб, или предается
меланхолии — с тростью дубовой входит
в облетевший парк; улыбаясь криво,
разгоняет белок. Глаза отводит
от детей. И молчит над бутылкой пива.

Не до хитростей, брат, этим полднем синим,
если сердце исходит недобрым жаром.
Знаешь, я всю жизнь притворялся сильным,
оттого, что столько давалось даром.
Было время — вирши строчить в тетрадку,
и бывало — зубы сжимать до хруста,
приходилось страшно, темно, несладко,
никогда еще не бывало — пусто.

Ни к чему теперь писать о разлуке,
о моченом яблоке на морозе,
о ночных трамваях — все эти штуки,
понимаешь, больше пристали прозе,
золотому, злomu ее напитокку,
что к губам подносят на месте лобном,
а стихам — гореть на живую нитку,
помянуть Орфея в краю загробном.

Столько пели, мучились, тосковали,
а очнулись — дождик, худые сети.
И листок кленовый в моем подвале
шелестит, шуршит, вполнакала светит.
За спиной — тюрьма. Впереди — свобода.
Отчего же, бросив кифару-лиру,
замерев от боли, не веря в Бога,
я лежу ничком посредине мира. . .

Как и другие романтические штампы,
слова „изгнание”, „бессонница”, „тоска”
я забываю под огнем настольной лампы,
покуда за полночь играю в дурака

с самим собой, пока засаленные карты —
еще московские — семерка, тройка, туз,
не обещают ни победы, ни азарта,
а все же блазнятся прорывами в поту-

сторонний мир, где Герман в темной спальне
графини, где шампанское и штосс. . .
А вот и проигрыш. Что может быть печальней?
О, многое, дружок, всего не перечесть,

и привидение подскажет мне по-русски,
что заказать из винного листа,
по правде, нечего. Остались лишь закуски —
тоска, бессонница, и прочая тщета. . .

Сердце хитрит — ни во что оно толком не верит.
Бьется, болеет, плутает по скользким дорогам,
плачет взахлеб — и отчета не держит ни перед
кем, разве только по смерти, пред Господом Богом.

Слушай, шепчу ему, в медленном воздухе этом
я постараюсь напиться пронзительным светом,
вязом и мрамором стану, отчаюсь, увяну,
солью аттической сдобрю смердящую рану.

Разве не видишь, не чувствуешь — солнце садится,
в сторону дома летит узкогрудая птица,
разве не слышишь — писец на пергаменте новом
что-то со скрипом выводит пером тростниковым?

Вот и натешилось. Сколько свободы и горя!
Словно скитаний и горечи в Ветхом Завете.
Реки торопятся к морю — но синему морю
не переполниться — и возвращается ветер,

и возвращается дождь, и военная лютня
все отдаленней играет, и все бесприютней,
и фонарей, фонарей бесконечная лента. . .
Что они строятся — или прощаются с кем-то?

Снова осень, и снова Москва.
Неприкаянная синева
Так и плещется, льется, бледнеет.
Снова юность и родина, где
Жизнь кругами бежит по воде,
И приплыть никуда не умеет.

Где-то с краешка площади — ты.
Покупаешь в киоске цветы,
Хризантемы, а может быть, астры —
Я не вижу, мне трудно дышать,
И погода, России под стать,
Холодна, холодна и прекрасна.

Ждать троллейбуса, злиться, спешить,
Словом — быть, сокрушаться, любить —
Вот и все в этой драме короткой.
Ей не нужен ни выстрел, ни нож.
Поглядишь на часы, и вздохнешь,
И уйдешь незнакомой походкой

В переулок. Арбатские львы,
Дымный запах опавшей листвы,
Стертой лестницы камень подвальный,
И цветы на кухонном столе —
Наша жизнь в ненадежном тепле
Хороша, хороша и печальна.

Если можешь — не надо тоски.
Оборви на цветах лепестки,
Наклонись к этой книге поближе.
Пусть, вдогонку ночному лучу,
Никогда — я тебе прошепчу, —
Никогда я тебя не увижу.

Отлаяли собаки. Гаснут окна.
Прохожий под неверною луною
Спешит домой, ворча и спотыкаясь.
Смешны ему союзники мои —
Сияние снегов и ровный гул
Свободных звезд над черною, огромной

Отчизною, где я живу один,
В случайном доме, и держу в шкафу
Заветную бутылку, и пишу
Последние свои стихотворения,
Чай кипячу, а в общем, жду гостей:
Петра, Марию, Марка, Александра,

Владимира, Димитрия, Сергея,
Еще одну Марию, Валентину,
Виталия, Елену, Алексея,
Андрея, Лилю, Якова — хорош
Мой долгий список, хорошо гудят
Безлюдные ночные электрички.

За тридцать верст отсюда спит столица,
И Пригову непьющему не спится:
Склонился над столом, и сочиняет
Лихую несуразицу свою.
У! сколько раз тебя я в гости звал?
Сам пожалеешь, Пригов-безобразник.

Нет, кто-нибудь приедет. Непременно.
Есть, черт возьми, на свете справедливость.
Бутылка есть, и печка. Хорошо
С товарищем у зимнего окна
Разлить вино в холодные стаканы,
Потолковать о Боге, о любви.

А не приедут — что ж, переживу.
Перелистаю „Графа Монте-Кристо”,
Зевну, поставлю чайник, закурю,
И сяду за элегию о смерти,
Разлуке, одиночестве, и прочих
Страстях — и незаметно эта ночь

Сойдет на нет, покуда за стеною
Бредет к ведру хозяин дома, бывший
Помощник прокурора по расстрельным
(Сам хвастался) делам. Навряд ли он
Доволен квартирантом, но в конце
Концов, тридцатка в месяц — тоже деньги.

Где ты теперь, старинный мой товарищ
Из зеркала трофейного? где пишешь
Угрюмые стихи, не понимая
Что ждет тебя? Перед твоим окном
Уже тогда заснеженной тропинкой
Я проходил, не оставляя тени. . .

Всю жизнь торопиться, томиться, и вот
добраться до края земли,
где медленный снег о разлуке поет,
и музыка меркнет вдали.

Не плакать. Бесшумно стоять у окна,
глазеть на прохожих людей,
и что-то мурлыкать похожее на
„Ямщик, не гони лошадей”.

Цыганские жалобы, тютчевский пыл,
альябьевское рококо!
Ты любишь романсы? Я тоже любил.
Светло это было, легко.

Ну что же, гитара безумная, грянь,
попробуем разворошить
нелепое прошлое, коли и впрямь
нам некуда больше спешить.

А ясная ночь глубока и нежна,
могильная вянет трава,
и можно часами шептать у окна
нехитрые эти слова. . .

II

В. Дмитриеву

Погоди у порога.
Время первого снега, небес,
Утомленных присутствием Бога,
Время смутных словес,
Обращенных — куда? И откуда
Позаимствованных? Пора
Собирать по задворкам пустую посуду,
Растворяться с утра,
Снегом лоб растирать,
Притворяться зимующей птицей,
Время, знать, умирать,
Чтобы снова родиться.

Время все забывать.
Уползать, если беден и ранен,
В обветшалую гладь
Красноглазых развалин, окраин,
И зализывать рану, и петь понаслышке
В постаревшей глуши.
Это час покаяния, миг передышки,
Воскрешенье души.
Ни за ломаный грош, говорят, пропадешь,
Если этой порою
Шкуркой заячьей прошлого не отдерешь,
Мехом внутрь, а наружу — кровавой мездрую.

Высока и бледна,
Прогоняет зима без возврата
Недопивших до дна
Ледяное октябрьское злато,
Вот такое кино.

Не тушуйся, не бойся, коллега,
Превращаясь в ночное пятно
На поверхности первого снега.
Даже если река,
Если лед не сбивается с весел —
Ремесло скорняка
Не опаснее прочих ремесел.

Ни о чем не жалеть.
Ни о чем. Ни о ком не жалеть, не
Сокрушаться. Болеть.
Выходить на лечение в Летний
Сад, где снег, словно прах,
Нахлобучен на лица, надвинут,
Где в стеклянных гробах
Европейские мраморы стьнут,
И молчит по казенным делам
Человек нехороший.
Что я делаю там?
Так, гуляю по первой пороше.

Город, голод и грусть,
Полунебо, гусиная пряжа!
Я уже не боюсь
Ни любви, ни молчания, даже
К бедным рифмам привык,
По заснеженным шляюсь бульварам,
Даром что черновик
Перечеркан, помят, перемаран —
Город, ветер и свет!
Я — твое отражение, я ведь
Столько весен и лет
Ни строки не сумел переправить,

Мы с тобою вдвоем,
Как с посланием принца — датчане,
Озираясь, плывем,
Чтобы чайки спросонок кричали.

Град — открой мне глаза,
Ни о чем не прошу, не ревную,
Пусть визжат тормоза,
Пусть корежит, уносит в иную
Жизнь, где поздний рассвет,
И дорога в ухабах, и хлеба
Даже мерзлого нет.
Лес — направо, овраги — налево,

Или проще, налево — овраг,
А чащоба — направо.
Оглянись на прощанье, дурак,
Городскую запомни заставу,
Закуси на прощанье губу,
Съешь кошачьего меха,
Как Башмачкин в сосновом гробу,
Весь — сплошная прореха.
Что он видит во сне, за углом?
Снежный ветер и праздник,
И посмертным своим ремеслом
Божий промысел дразнит.

Погоди у порога.
Оботри свои слезы и пот.
Потерпи, впереди еще много
Похоронных хлопот.
Что там — золотом в инее?
Где — когда — как-нибудь.
Три сестрицы-Эринии
Собираются в путь.
Лажа, друг Исаакий,
Полыхают вороны, кружа
В керосиновом мраке,
И никто не отводит ножа.

Такая ранняя зима,
неотвратимый первый снег,
и новобрачная кайма
по берегам покорных рек —

и Гоголь скрючившись в углу
нагар снимает со свечи,
зачем-то шарит на полу
и чертыхается в ночи,

потом, суставами скрипя
в потертом кресле, и опять
казнит других, винит себя
и начинает смерти ждать,

вслепую по ночным камням
вступает в свой последний сад,
метели не бывает там,
цветут полынь и виноград,

усталый дремлет ученик.
И Гоголь дремлет за столом.
Трещит камин, хрипит старик,
прощаясь с телом и теплом.

А где же, где же место мне?
Не за столом, и не в саду.
Один в метельной тишине
бульваром сгорбленным иду.

Там до сих пор висит доска
на сером доме у ворот,
носатый профиль старика,
высокий лоб, угрюмый рот.

Прощай, любимая метель,
Арбат в начале ноября,
автомобиль ушел в тоннель,
напрасно фарами горя.

В конце тоннеля детский свет.
В кармане снежный леденец.
И если даже смерти нет,
она приходит наконец.

Я уеду, ей-Богу, уеду,
к морю синему, чистому свету,
буду ветру, как в юности, рад.
Я проснусь и прославлю, уехав,
шум платанов и грецких орехов,
рев прибоя, ночной виноград.

Будет вечер алмазною сажей
покрывать каменистые пляжи,
будет море сиять допоздна,
и, дорогу нащупав не сразу,
над тяжелым каскадом Кавказа
золотая очнется луна.

Я уеду, конечно, уеду,
превращать поражение в победу,
буду ветром свистеть под мостом,
словно облако полуживое,
я вернусь, пролечу над Московской,
прокружусь тополиным листом.

Неужели надеяться поздно?
Звезды светятся ровно и розно,
догорают мои корабли.
Снится мне обнаженное море,
просыпаюсь от счастья и горя —
это пройдено, это — вдали.

Это в прошлом, а я — в настоящем,
в ледяном одиночестве спящем,
ах, как море мое далеко.
Словно детство — прохладно и трудно
под ладонями плещется чудно
голубое его молоко.

И пока я с пером и бумагой —
бродит ветер приبلудной дворянгой
берегами твердеющих рек.
И ползет, и кружит, и взлетает,
и к губам человека взметает
пресноводный нетающий снег.

Се творчество! Безумной птицей
Над зимним городом кружит,
Зовет с отечеством проститься,
Снежинкой дивною дрожит.
И человеки легковерны
Охотно поддаются на
Ее призыв высокомерный,
Как будто истина она.

Проходит день, и две недели,
У беллетриста бледный вид.
Он над бумагой, не при деле,
С утра до вечера сидит.
Гоненья, смерть — ему неважно,
Парит в безбрежной синеве,
И вдохновенья холод влажный
Ползет по лысой голове.

Се — творчество! Как некий выстрел
Вдруг раздается впереди,
И керосиновой канистрой
Воспламеняется в груди.
Спешу, трагический художник,
Терзай палитру и треножник,
Кистей и красок не жалею
Для роковых своих страстей!

Проходит год, и два, и восемь.
У живописца бледный вид.
Он за столом в глухую осень
С бутылкой крепкого навзрыд.
А где же творчество? Угасло!
А где возвышенная цель?
Все позади. Осталось масло,
Мольберт, бумага, акварель.

Любовь — коварная наука,
Ей далеко не всякий рад.
Но жизни творческая штука
Еще опасней во сто крат.
И если ты беззлобный нытик —
Не поддавайся ей вовек.
Она умеет много гитик,
А ты лишь слабый человек.

Зима надвигается. Снова
какой-нибудь угол глухой
под слезы ребенка больного
покроется снежной трухой.
И после всех выплат и выдач
в итоге останется хер.
Простите, Борис Леонидыч,
невежливый этот пример.

Застрянут в грязи, недоехав,
недопив, рыдая в туман,
осенние сумерки чехов
и прочих восточных славян.
Потомок на вашу могилу
сирень принесет в стакане,
и тоже, дыша через силу,
напишет стихи о войне.

Кладбищенской тропки изгибы
вложить попытается в стих,
и скажет земное спасибо
за то, что остался в живых.
За ветер, за позднюю славу,
за рощу в конце сентября,
за выстрел — не ради забавы,
а чтобы не мучился зря.

Над городом тучи нависли.
На дачах шинкуют и спят.
Не будем считаться, Борис Ле-
онидыч, я сам виноват.
Уж лучше, сквозь мир наизнанку,
где кровью шумит водосток,
нащупать снотворного банку,
да тихо заплакать в платок. . .

Ты оглянулся? Не забудешь — дом
терялся в ранних сумерках, темнея
от времени? Из приоткрытой двери
шло дымное, горчащее тепло.
Скрипели весла. Лодка протекала.
И пировали медленные волны.

Там ждут, ворча, товарищи твои.
Не опоздай, с пилой и топором
по острову блуждая, проверяя
пригодность сосен к смерти. Вот одна.
Роняя иглы желтые, она
уже не различает ни весны,
ни осени. Отечество. Октябрь.

Воротишься продрогший. Бросишь пару
поленьев в печку — и завоет пламя,
и руки отогреются. Так сухость,
переплетаясь с ветром и огнем,
иному горожанину дает
уроки философии. Уроки?
Скорей упреки, друг. Над озером туман
расходится. В воде неотвратимой
горит второе небо. Хорошо.

Что нужно ей от нас, бесценной жизни?
И что нам — от нее? Неужто счастья?
Сомнительно. Неужто жаркой силы
огня и дыма, пламени и пепла?
Так горек воздух осени густой,
черна земля, прозрачен сухостой
осиновьей. Какое торжество
нам суждено, зачем мы ищем смерти,
и, повзрослев, не просим ничего
у ненаглядной вдовствующей тверди?

И снова дождь на озере. Вдали
снимались гуси дикие. Под ветром
шершавые раскачивались сосны
с каким-то светлым корабельным звоном.
И пахло порохом. И выстрелы неслись
вперед и вверх, в нетронутое небо.

Завидовал летящим птицам и камням,
И даже ветру вслед смотрел с тяжелым сердцем,
И слушал пение прибоя, и разбойный
Метельный посвист. Так перечислять
Несовершенные глаголы юности своей,
Которые еще не превратились
В молчание китайских мудрецов,
Недвижно спящих на бамбуковых циновках,
И в головах имеют иероглиф ДАО,
И, просыпаясь, в руки журавлиное перо
Берут, и длинный лист бамбуковой бумаги.

Но если бы ты был мудрец и книгочей!
Ты есть арбатский смерд, дитё глухих подвалов,
И философия витает над тобой,
Как серо-голубой стервятник с голой шеей.
Но если бы ты был художник и поэт!
Ты — лишь полуслепой, косноязычный друг
Другого ремесла, ночной работы жизни
И бесполезного любовного труда, птенец кукушки
В чужом гнезде, на дереве чужом.

И близится весна, и уличный стекольщик
Проходит с ящиком по маленьким дворам.
Зеленое с торцов огромное стекло
Играет и звенит при каждом шаге,
Вот-вот блеснет, ударит, упадет.
Так близится весна, и равнодушный март
Растапливает черные снега, и солнечным лучом
В немых зимних окнах зажигает
Подобие пожара. И старьевщик
Над кучей мусора склоняется, томясь.

Жизнь людская всего лишь одна.
Я давно это понял, друзья,
И открывая делаю я,
Наблюдая за ней из окна.
Там прохожий под ветром дрожит,
И собака большая бежит,
После вьюги полночной с утра
Белым снегом сияет гора.

Даже в самом начале весны
Человеки бывают грустны,
И в отчаянье приходят они,
Если время проводят одни.
Я совсем не мелю языком —
Этот опыт мне очень знаком,
Чтобы весело жить, не болеть,
Очень важно его одолеть.

И конечно, поэт Владислав
Ходасевич безумно неправ —
Только мусор, и ужас, и ад
Уловил за окном его взгляд.
И добавлю, что Хармс Даниил
Тоже скептик неправильный был —
Злые дети играли с говном
За его ленинградским окном.

Не горюй, если сердце болит!
Вон в коляске слепой инвалид —
Если б был он без рук и без ног,
Далеко бы уехать не смог.
Но имея коляску и пса,
Не снимает руки с колеса,
И хорошие разные сны
Наблюдает заместо весны.

Умирает один и другой.
Человек без ноги и с ногой.
Но подумаю это едва —
Распухает моя голова.
И опять за огромным окном
Жизнь куда-то бежит с фонарем,
Жизнь куда-то спешит налегке
С фонарем и тюльпаном в руке.

Стихи Набокова. Америка. Апрель.
Подсчитаны мои потери,
И слезы высохли, и запоздалый хмель
Развеялся. Глазею — и не верю
Ни первой зелени, ни розам на столе.
Не теребите, Бога ради!
Иной паломник и в Святой Земле
Не обретает благодати.

Разлукой мучаясь, с трудом переходя
В разряд теней, довольных малым,
Вдруг видишь, что асфальт в испарине дождя
Сияет нефтью и опалом.
Вот Бог, а вот порог, а вот и новый дом,
Но сердце, в ритме сокровенном,
Знай плачет об отечестве своем
Осиновом и внутривенном.

Весна в Америке! Плывет вишневый цвет
Под месяцем, горящим низко.
Косится в сторону, закутываясь в плед,
Пышноволосяя славистка.
Америка и Русь — беседа все течет —
Не две ль, по сути, ипостаси
Единого? Но вот в стаканах тает лед,
Зевок, другой. . . Пора и восвояси.

Пора, мой друг, пора. Запахнет резедой,
Вскричит встревоженная птица,
Тень Баратынского склонится надо мной
С его заветной заграницей.
Я дальней музыке учился по нему,
Сиял Неаполь, пароходы плыли. . .
И кто-то трезвый, втиснувшись во тьму,
Захлопнет дверь автомобиля.

Ночь царствует. Витийствует гроза.
Глаза опухшие закрыты.
На свете счастья нет, как некогда сказал
Один отказник знаменитый.
Ревет мотор, гудит, по крыше бьет вода,
Сады, витрины, развороты.
Я одиночества такого никогда. . .
Молчу, молчу. У всех свои заботы.

Молчу, дрожу, терплю, грядущего боюсь,
Живу шипением пластинок
Затертых, призрачных, и больше не гожусь
Для просвещенных вечеринок.

.....
.....
.....
.....

Гроза, гостиница, бродяга на скамье.
Ступай и пой, покойся с миром.
В безлюдном холле заспанный портье
Склонился над своим Шекспиром.
Гремит ключами, смотрит в спину мне
С какой-то жалобной гримасой,
Пока в пол-неба светится в окне
Реклама рубленого мяса.

Привычка жить. . . наверно. Все равно.
Душа согласна на любое.
Включи другой канал, трескучее кино,
Стрельба, объятия, ковбои.
Проснусь — увижу луч, умру — увижу тьму,
И, погружаясь в сумрак дымный,
Я одиночества такого никому. . .
Гори, гори, звезда моя, прости мне. . .

В Вермонте ветрено. Прохлада
божественного сквозняка,
и мрамор — чистая Эллада,
и в ожиданьи пикника
лежат пластмассовые вилки,
химическая ветчина,
в ручье скучают две бутылки
калифорнийского вина.
Сходи, приятель, сделай милость,
проверь — должно быть, охладилось.
Довольно плакать о своем,
вздошем. Откроем. Разольем.

Нет, погоди, — вздыхать не надо.
Как жизнь, как брызги бытия
летит в глаза от водопада
живого холода струя.
И мы еще не догорели,
и драгоценна речь вдвойне,
когда безумен плеск форели
и отблеск солнца в глубине
реки, где мизантроп-прозаик,
я, грешный, да Цветков-поэт
смеются в голос, и глаза их
роняют сумеречный свет.

О чем тебе напомнить, Леха,
в печали этого луча?
Что конь борзой, бежит эпоха,
останки Гектора влача.
Уже земля от крови взмокла,
и пламя гаснет на ветру —
останки бедного Патрокла
несут к последнему костру.
И все же — вмешивались боги
в троянско-греческие склоки.
Без их предательских затей
И проще войны, и страшней.

Наследство музыки двойкой —
то нервный лай, то жуткий вой.
Часы меж волком и собакой,
меж Петербургом и Москвой!
Век будут русские поэты
в своем поваленном гробу
играть по этому либретто,
срывая голос и судьбу.
Но сколько пропито, забыто,
свободе отдано в полон,
пока не требовал пиита
к священной жертве Аполлон. . .

Пристал к душе родимый деготь,
осенний дым, кровавый мед.
Попробуй прошлое потрогать —
саднит, нескоро заживет.
И вот — раскаиваться поздно,
и те, кто выживет навряд,
как обескровленные звезды
в горах Америки горят.
И ты вздыхаешь, выпив лишку —
спасибо, ночь, за передышку,
сквозняк, чужую сторону —
я расплачусь. . . я все верну. . .

III

Спи, патриарх, среди своих словарных
отар. По недопаханной степи
козлища с агнцами в слезах неблагодарных
слоняются.

Не убивайся, спи.

Лежи в обнимку с беспробудной лирой,
старей во сне, и сам себя цитируй,
пристаньвай, взывай о тех ночах,
лицом вращая в бурый солончак. . .
Пускай другой, поющий и пропащий,
которому загубленное слаще,
незванный гость на воровском пиру,
ошибкой выйдет к твоему костру. . .
пускай другой, и любящий другую —
дорога оренбургская долга —
сближенье звезд вполголоса толкуя,
не различает друга и врага —
по вытоптаным пастбищам овечьим
пускай бредет, ему томиться нечем
в чужой степи, без окон и огней —
ему и жизнь, чтобы с ножом по ней. . .

Опять в эмигрантском романе
Америка, пригород, дождь.
Куда же ты, братец, по пьяни
заречьем вокзальным бредешь?
На поезд торопишься? Поздно.
А что до призвания — в нем
пустые дорожные звезды
мигают кошачьим огнем.

Я сам, в суете и печали,
я сам тебя выдумал, брат.
Большие машины сигналият,
и мокрые вязы шумят.
Я сам — несерьезный, неправый —
лишил тебя света и сил,
придумал, дешевой отравой
в осеннюю ночь напоил.

И все-то казалось — в романе
колеса катились быстрой,
в железнодорожном тумане
толпа у зеленых дверей
теснилась, и на полустанке
рожок предрассветный играл. . .
Убей меня, милый, по пьянке, —
я все у тебя отобрал.

Забрал и сквозняк, и усталость
в ознобе сырого белья,
всего-то мне в жизни осталась
дорога твоя, колея.
А ты в пешеходную осень,
где ласковый царствует дождь,
скучаешь, и гибели просишь,
и руки на горло кладешь.

Простимся, друг друга не тронув.
Расплывчатый месяц встает,
холодные головы кленов
качаются ночь напролет.
Я тоже прошу передышки,
пока ничего не сбылось
в вагонной зачитанной книжке —
забытой, промокшей насквозь. . .

Анн Арбор, 1985

То ключ, то паспорт потеряешь,
суме поверишь, и тюрьме,
и удивленно замираешь,
готовясь к медленной зиме.
Там, не загадывая на год,
не ведая, как смерть долга,
на землю выпрениую лягут
неторопливые снега,
метель, а может быть, и выстрел,
прощай, я больше не могу —
и кто-то прежний тенью быстрой
оцепенеет на снегу.

Забыла? плакала? любила?
тревожилась? На мокрый лед
все то, что будет, все, что было
летучим воском упадет,
и незадачливый алхимик
науке нищей вопреки
знай смотрит в зеркало, в сухие
неосвященные зрочки. . .

Смотри, любимая, бледнеет ночь, гора
 Над городом, граница сна и яви.
Не знаю, как тебе, а мне уже — пора
 Спешить к прощальной переправе.

Ты говоришь — прощай, а я в ответ — прости.
 Ты — выпили, а я подхватываю — пропил.
На вязь словесную, на светлый прах в горсти
 Я столько радостей угробил!

Искал синонимов, не видел леса за
 Деревьями, любви — за глупой ворожкой
На внутренностях слов, все думал, что гроза
 Ведет к свободе и покою.

Окаменела, превращается в агат,
 Кольцо к кольцу, просвет в кремневой оболочке,
В котором стиснуты, как десять лет назад,
 Мои зареванные строчки.

И в этот-то просвет, в воронку блеклых вод,
 Где вой озерных волн, птиц гибнущая стая,
Подводит с каждым днем, и тянет, и зовет —
 Глухая, нежная, простая. . .

Что это было — бракосочетанье?
Крещение? Похороны? Первое свиданье?
Был праздник. Отшумел. И меркнет, наконец,
московский двор, и Теплый переулок,
раскрытое чердачное окно
и фейерверк конца пятидесятых —
ночная синька в выцветших заплатах,
каскад самоубийственных огней. . .

Мать плакала, я возвращался к ней.

Я детство прозевал, а молодость растратил —
пропел, продрог, прогоревал.
Родился под землей подвальный обитатель —
и возвращается в подвал.
Что светит надо мной — чужие звезды или
прорехи в ткани бытия?
Где смертный фейерверк, сиявший в полной силе
с тех пор, как грозный судия?

Мой праздник отшумел, и меркнет, наконец.

Что ж, выйду-ка и я без друга на дорогу
в тот самый, середины жизни, лес.
Сверну к оврагу, утолю тревогу
свеченьем будничных небес.
И одиноко станет, и легко мне,
и все пройдет, действительно пройдет.
Куда бредешь? Ей-Богу, не припомню.
Из смерти в жизнь? Скорей наоборот.

Нет, ничего не знаю, отпустите,

помилуйте! Не веря ни лучу,
ни голосу, не ожидая чуда,

вернусь в подвал, руками обхвачу
остриженную голову, и буду
грустить по городу, где слеп заморский гость,
позорных площадей великолепье,
где был я на луну, грыз брошенную кость
и по утрам звенел собачьей цепью. . .

Все на свете выходит из моды, родная, и мы
превращаемся в анахронизм, в пережиток
отдаленной эпохи, когда накануне зимы
лед блистал, словно гвозди на конских копытах,

и падучие звезды не вскрикивали на лету,
не сжимали зубов, не роняли кровавую пену,
улетали безропотно в ласковую глухоту,
и шептали — до встречи, конечно, пиши непременно. . .

Неужели мы все-таки выжили? Я не могу,
нехватает зацепки, такой ерундовой,
а оставленный город алеет на свежем снегу
и сияет крестами, и блазнится гладью ледовой. . .

Лишь изредка. Не насмерть, а слегка.
Самовлюбленно и неторопливо
давнишний ветер гонит облака,
но кораблей на плоскости залива

не трогает. Провисли паруса.
Уснула речь в своей каморке дымной.
Как в негритянском гимне, небеса
не столь угрюмы, сколь гостеприимны.

И то сказать — довольно прежних бед,
накликанных по глупости, себе же
на голову. Приморский серый свет
избыточен, прекрасен, безмятежен.

И ты, моя цикада, стрекоци,
пой песенку свою, перелетая
с куста на куст в раскидистой ночи. . .
Нет. Все молчит. И музыка простая

подхвачена все тем же ветерком,
унесена — в небесные селенья?
Бог весть куда? — и тает в отдаленье,
не жалуясь, не помня ни о ком.

Ждать в сумерках, покуда ты на зов
не откликаешься, и мячика неловишь. . .
Давай попробуем, опять начнем с азов —
ну что же ты, поймай меня на слове. . .

Деревянные дроги
да осиновый дом.
Не отыщешь дороги
в вертограде ночном.
Позабудешь о доме,
что остался нигде,
в подоженной соломе,
в неприкрытой беде.

Жалок наш околоток,
а осенний — вдвойне.
Житель, темен и кроток,
неподвижен во сне.
Он в жилье некрасивом
изнывает впотьмах,
задремавши за пивом
с сигаретой в зубах.

А друзья дорогие
знай бормочут не в лад,
тянут ручки дверные
да в окошки стучат.
Ходят градом предзимним,
спирт метиловый пьют,
поливая бензином
деревянный уют.

Оттого и не спится
ни одной, ни вдвоем
перепуганной птице
с обожженным крылом,
и обиженный некто
с обожженной рукой —
будто алый прожектор
в тесноте городской.

Он бежит на свободу
по дорожке кривой,
к деревянному своду
над дурной головой.
От витрины к витрине
в милицейских свистках —
и сгущается иней
на открытых глазах.

Ждать проблеска, просвета, отголоска
февральского, скрипичного ключа.
Стелили мягко, почиваем жестко,
спросонок озираемся, ворча.
Взгляд в полутьме скользит по инструменту
трехструнному, будильнику, столу.
Иные сны легко и незаметно
перерастают в музыку и мглу,
но я уже забыл, что так бывает.
Они забыли. Он забыл. Она.
Безумная грамматика ночная,
наука беспричинная одна. . .

Знакомые утехи крохобора:
скрип половицы, выкрики гудка
бродячего. Рассвет еще не скоро.
Так преодолевается тоска,
вернее, обживается. Любая
потеря тянет шелковую нить
к бессмертию, любая пряжа знает,
как порванную нить соединить —
октавою, сиянием во взгляде. . .
бормочет ночь, и голос обречен
твердить о ней, обузе и отраде,
об узелке на память ни о чем. . .

. . . а что дурак, и умница, и скряга —
все перейдет, и реки утекут,
пока в руках у Господа Живаго
переживешь бессонницу и труд,
пока сквозь небо, в страхе терпеливом,
не пролетишь над вымершим заливом,
где музыка, порывисто дыша,
не покидает звездного ковша. . .
Верши, метель, забытую работу
над брошенной страницей из блокнота
ростовщика, где кляксою мое
лукавое, дурное бытие
распластано. . . вся жизнь была залогом. . .
вся жизнь была. . . в беспамятстве убогом
спит город твой. Погас его гранит.
И мокрый снег ладони леденит.

Горше хины людская свобода,
жарче солнца, морознее льдин —
уверял в отдаленные годы
одаренный философ один.
Даже знание — это утрата,
и науки другие нужны,
чтобы петь накануне заката
и сгорать, — рассуждал он когда-то,
напиваясь тайком от жены.

И тянулся в январском провале
шпиль вокзальный в иные миры.
Было грустно, и звезды мерцали,
будто ангелы в небе гоняли,
биллиардные гнали шары.
Торопила его проводница,
да и мне, приложившись к вину,
не прощаться хотелось — катиться,
по зеленому мчаться сукну. . .

Поезд тронулся, пальцы озябли,
замутился стакан ледяной.
Ах, свобода, — по ложке, по капле
принимай этот черный настой,
чтобы тихо скрипели ступени,
чтобы рельсы звенели и пели,
и уже различалось едва —
за спиной, в морозной постели,
Атлантидою дремлет Москва.

В старых снах, в наваждениях давних,
называя разлуку сестрой,
с кем-то пьешь, слабогрудый наставник,
с кем торопишься после второй?
Полустанками сердце мороча,
ускользая в надмирную высь,

хорошо по развалинам ночи,
хорошо по развалинам ночи
на свидание с жизнью нестись. . .

Экран, и вокзал, и облава,
красное небо дрожит —
и ворон над полем, где правый
в обнимку с виновным лежит.
Комар? или дальние трубы?
Какой это, Господи, год?
В дверях деревенского клуба
нетрезвый толпится народ.

Откуда мерещится это,
впотьмах отнимается речь?
Очнуться. Достать сигареты.
Картонную спичку зажечь.
Хлебнуть из бутылки — какая
несладкая, Боже, лоза —
опять, суетясь и вздыхая,
насильно закроешь глаза —

и снова — лежишь у вокзала,
в разбитое спрыгнув окно. . .
Давно ли мне жизнь обещала
другое, другое кино?
Сержант, я даю тебе слово,
сержант, безо всякой вины
мне сыплется в горло полова,
солома гражданской войны. . .

И снова по площади грянет
начищенный гулкий металл,
одних испугает и ранит,
уложит других наповал —
и все это сердцу не любо,
бежит, узнавая беду
в дверях сумасшедшего клуба
и в зале, в последнем ряду. . .

Очнись же — созвездий в проеме
окошном — на тысячу лет,
и выпивка сыщется в доме,
крепленый российский букет —
но бьется старинная лента,
и с неба, безумен и чист,
к чугунным ногам монумента
слетает осиновый лист. . .

Развал переулков бульжных,
арбузы, да запах борща,
где чаще всего передвижник,
сюжет социальный ища. . .
Он знает: здесь травятся газом,
зеленое глушат вино,
и вот — наблюдательным глазом
в подвальное смотрит окно.
Этюд — папиросный окурочек
в бутылке. Учитель-еврей
внимательно слушает хмурых
отцов и глухих матерей.
И замысел — трое с поллитрой
в подъезде, с намеком на вред
правительства, с бедной палитрой,
где цвета лазурного нет. . .

Работай — я спорить не буду,
под медленный шопот дождя
с авоськой порожней посуды
в заброшенный дворик входя.
С весны еще пахнет сиренью
и с юности — горькой листвою.
Осеннее сердцебиенье
водою бежит дождевой.
Что мертвые — третьему Риму!
Глаза им клюют соловьи.
Соседи за пьяного примут,
оставят лежать у скамьи.
Шумит, багровея, рябина,
архангел играет с трубой
и смотрит упавшему в спину
тюремный клочок голубой. .

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Алексею Цветкову

1.

Что там маячит за мглою колючей,
сквозь приснопамятный вой?
Видимо, родины сгорбленный случай
вышел на промысел свой.
Видимо, снова запахло удачей —
если веселый юрод
палкой ореховой в холод собачий
землю звенящую бьет.
Сколько же было пинков-зуботычин,
сколько ночей под дождем?
Дай-ка поделимся, милый, добычей,
всю аккуратно сочтем.

Камень — хороший, у самой дороги.
Выпей со мною, уважь.
Хоть мы и малые были пророки —
жаль отправляться в тираж.
Вот тебе шкалик, и хлебная корка —
птицу покормишь из рук.
Нет. Умирать в наши годы недорого,
зря сомневаешься, друг.
Только погода — глухая, холодная. . .
Где ж ты, ворона, утешь!
Или мы пугала огородные,
или ты хлеба не ешь?

2.

Что там маячит в чащобе ампирной,
светит без лишних прикрас?

Это отечества пряник имбирный,
красной изюмины глаз.
Там, без подряда с торговой палатой,
хитрым товаром звеня,
едет на ярмарку тип небогатый,
весело гонит коня.
Множество в роще безлюдных дорожек,
есть и такие, что — ах!
За голенищем хозяйственный ножик,
светлая злоба в глазах.

Превозмогая, скорбя, и ревнуя
к честным господским трудам,
эту судьбу — золотую, хмельную —
я никому не отдам.
Заголосила на рынке старуха,
глядь — и застыли во льду
гири клейменные, рваное ухо,
драка в охотном ряду. . .
Надо б добавить багрового цвета,
снега, особых примет.
Надо б расплакаться — только на это
места и времени нет.

Что делать, родная — метельный балет
не трогает мерзлой земли.
Куда мне девать лотерейный билет,
в котором сплошные нули?
Попробовать счастья в другом тираже?
Но музыка гаснет уже,
и молодость явно подходит к концу,
и выигрыш мне не к лицу.

Бездомная ночь. Малахитовый глаз
такси — и безлюдная тьма.
Совиных, тем паче орлиных, у нас
не выросло, видишь сама.
Я все позабыл. Словно в шахматах, пат.
Король никуда не пройдет.
И только дареные звезды шипят,
на ломаный падая лед.

Иному — плевать на такой приговор,
ему до могилы вольно
вполсилы молоть романтический вздор,
блистать голливудским кино.
А я — озираюсь в лихом тупике,
с потертой запиской в руке,
с обрывком рассказа, где ветер ночной
ни с чем возвращался домой. . .

О Господи. Мне ли сидеть у окна,
на раннюю старость ворча,
за ласковой мглой, за стаканом вина,
в халате с чужого плеча?
И все этот черный в проеме дверном
приходит ко мне перед сном —
то рифму покажет, то выправит стих,
то выход подскажет — из самых простых.

Хорошо безруким нищим
на углу стоять,
или ветром над кладбищем
брошенным летать,
хорошо, как в поговорке,
двадцать тысяч лет
посылать на землю зоркий
отраженный свет.

И не мучайся, не стоит
давнюю виной.
Хорошо бежать пустою
улицей ночной,
и очнуться у вокзала
в злые времена,
чтобы поздняя звучала
скрипка из окна.

Город бедный, город старьей,
деревянный звон.
На худой конец — гитара
или патефон.
Мне любая песня впору,
пусть шумит в ушах,
заглушая Командора
неспокойный шаг.

Ускользнув в туман паучий,
в сумрак ножевой,
хорошо бежать скрипучей
зимней мостовой,
убегать в тревоге чудной,
по осколкам льда. . .
А легко мне или трудно —
не твоя беда.

Молчание — тоже работа,
забота, и боль, и тщета.
С вороньего смотришь полета —
и древнее, жалкое что-то
тебе затворяет уста.

Ах, ворон, какое нам дело
до счастья, соринки в глазу!
Остывшее — перекипело,
устало, простилось несмело —
и снегом белеет внизу.

А дальше — чернеет дорога,
венозною кровью полна.
На кухне у Господа Бога —
молчание — тоже тревога,
свобода, ночная война.

И ворон, что черное пламя,
стремителен или влюблен —
на бедную землю кругами,
детей суеверных пугая,
неслышно спускается он. . .

Виноватые ищут полета,
кистеперую мучают речь,
а у ветра — простая забота —
раздуть, перетряхивать, жечь.
Повторит позабытое имя —
и опять, без воды и огня,
небесами бежит дорогими,
безработные тучи гоня.

Я и сам ни о ком не тоскую,
и давно уже хочется мне
записаться на службу простую,
скажем, месяцем в зимнем окне.
Не болтать, и не плакать по дому,
одиночество честно терпеть,
да под утро — ребенку больному
колыбельную песенку петь. . .

Мне больше не выбраться в город живой,
который не дремлет в ночи дрожжевой,
готовится лечь в раскаленную печь,
одних погубить, а других — уберечь.

Ходить мне и дальше по темным делам,
глухим чердакам, тараканьим углам,
больничным палатам, где сода и бром,
себя поминая ржаным сухарем.

А после работы — спускаться в подвал,
чтоб кто-то безглазый меня целовал,
отечески потчужа мглой молодой,
садовой землею, да мертвой водой.

А. Радашкевичу

На что похож? Скажу: на сад камней,
замусоренный, бестолковый,
который чем древнее, тем верней
поит лозой известняковой.
В проулке — волк, на перекрестке — лис.
Вягель спит, ладонью прикрывая
стакан цветной, где водка и анис,
и башенка всплывает угловая.

А нам с тобой — по лесенке, взхлеб,
то финна обгоняя, то японца.
Ну, не толкайся, толоконный лоб,
туристище. Уйди. Не засти солнца.
Оно уже в проеме винтовом
в преддождевой коричневатой дымке
мерещится — жар-птицей, полу-львом,
химерою на довоенном снимке.

Что ж, если речь о фокусах — назло
спущусь туда, где зрелище попроще,
где головой в толченное стекло
летит жонглер, и пьяненькая площадь
вдруг ахает, монетками звеня,
а он глотает пламя, славы ищет. . .
Я пошутил. Здесь тоже нет меня.
А где я есть? Когда б я знал, дружище. . .

Уже визжит сирена за углом,
и репортер строчит, и смотрит хмуро.
Подумаешь — так все, чем мы живем, —
литература, брат, литература.
Она же — прочее, как говорил дурной
один мужик, на передок нестойкий,
по лестнице загаженной домой
взбираясь после уличной попойки,

где длился спор о музыке, и о
бессмертии, а может, об удаче,
когда достопочтенная Клио
в красивом пантеоне предназначит
по нише каждому — а до тех пор — гуляй,
рванина праздная, носи парик мочальный,
из Моцарта ей что-нибудь сыграй,
пускай заснет над книжкой печальной.

Бежит фонтан в рассыпчатую тьму,
с известняком речную ночь мешая.
Для музыки, не милой никому,
какой-нибудь грозы в начале мая —
пока Шарлотта тянется к ножу,
и фокусник за шпагою другую
глочет — я под звездами брожу
и тенью собственной торгую.

Париж, 1985

И снова ты один, как десять лет назад,
один, как десять тысяч километров
назад, и десять тысяч стихотворных строк. . .
Но этим громким цифрам далеко
до заклинанья. Это просто
нули да единицы — а душа,
как прежде, поднимается кругами,
спиральями, порывисто дыша
выходит в стратосферу, и оттуда
летит, ломая восковые крылья,
крутясь, крича, и больше не считая
ушедших лет, вагонных километров
и типографских знаков.

Эту песню
ты позабыл, ты напеваешь только
припев, один, как много лет назад,
как, скажем, десять тысяч километров
назад, и черт-те знает, сколько строк,
и с каждой новой цифрой забываешь:
ее любили ангелы, и может
быть, за секунду от земли, где ты
угрюмо смотришь в сторону, подхватят
и унесут.

И это будет тем
последним одиночеством, в котором
уже не песни нету, ни припева. . .

IV

Не убий — учили, — не спи, не лги.
Я который год раздаю долги,
Да мешает давний один должок:
Леденцовый город, сырой снежок.

Что еще в испарине тех времен?
Был студент речист, не весьма умен,
Наряжался рыжим на карнавал,
По подъездам барышень целовал.

Хорошо безусому по Руси
Милицейской ночью лететь в такси.
Тормознет — и лбом саданешь в стекло,
А очнешься — вдруг двадцать лет прошло.

Я тогда любил говорящих „нет”,
За капризный взгляд, ненаглядный свет,
Просыпалась жизнь, ноготком стуча,
Музыкальным ларчиком без ключа.

Я забыл, как звали моих подруг,
Дальнозорок сделался, близорук,
Да и ты ослепла почти, душа,
В поездах простуженных мельтеша.

Наклонюсь к стеклу, прислонюсь тесней.
Двадцать лет прошло, будто двадцать дней.
Деревянной лесенкой — мышь да ложь,
Поневоле слезное запоешь.

Голосит разлука, горчит звезда.
Я давно люблю говорящих „да”,
Все-то мнится — сердце сквозь даль и лед
Колокольным деревом прорастет.

А должок остался, на два глотка,
И записка мокрая коротка —
Засмоли в бутылку воды морской,
Той воды морской пополам с тоской,

Чтобы сны устроили свой парад,
Телефонный мучая аппарат,
Чтобы слаще выплеснуться виной —
Незабвенной, яблочной, наливной. . .

Дар, обнаженный город мой, сна и дождя глоток,
словно улитка свернутый, рожками на восток,
город с пустой котомкою, что ты ползешь за мной
вечером, мягко скомканным серою простыней?

Выпили, слезы вытерли — выучив свой урок,
спутник я стал сомнительный, житель больших дорог,
лещиком, черным плащиком, стынувшим на углу —
камешек спрятать за щеку, в вену всадить иглу.

С пропуском одноразовым, с шаром земным в руках
щурюсь при свете газовом, лишь бы увидеть, как
город с зонтом поломанным, град ненадежных нот
над океанским омутом рыжим хвостом метет.

Плоскости голубые режут воронью тьму,
будет и ностальгия, только не по нему,
только бы знать, куда мне руки тянуть, горя
трещиной в белом камне раннего декабря. . .

Бостон, 1986

Теплынь, лягушачья слякоть — а утром сулили снег.
Толкает меня под локоть невежливый человек,
И просит на опохмелку, и дела-то — медный грош,
И сам я монеткой мелкой качусь под осенний дождь.

Так странно брэнчать на лире, кадавром лежать на льду
В придуманном лучшем мире, на тридцать седьмом году.
Кепчонка фальшивой кожи, ночной адресок в руке,
Дрожит человек прохожий в замызганном пиджаке.

О чем ты шумишь, приятель? Кончай наводить тоску.
Я тоже всю жизнь растратил, сшибая по пятаку,
И долго ловил звезду я, единственную свою,
Печалюсь и негодую у времени на краю.

А все умирать грешно нам — бездельникам, голытьбе,
Любителям-астрономам с паучьим гнездом в трубе.
На улице дождь, и мокрый, совсем невозможный снег
Смерзается коркой блеклой. Кончается трудный век.

Кончается век огромный, уходит — не удержать.
Ему в подворотне темной газетным клочком лежать,
Забыть свой язык и имя, виною страдать двойной,
С ребятами слободскими хоккеем обсуждать в пивной.

И я говорю: чего там кривить онемевший рот.
За первым же поворотом крылатый охотник ждет.
И падает луч на площадь, и сердце летит за ним,
Узнав стреловидный росчерк под ордером розыскным.

И ляжет в полях пороша, и егерь выйдет на след.
Ему дорогое — дешево, дареному — счета нет.
И щеголь в ночной витрине, калека среди теней,
Стирает багровый иней с крахмальной груди своей.

Чей за окошком желтый глаз, один, горящий без стыда?
Я бормочу ему: „сейчас”, и тут же, тише, „никогда”.
Когда бы два, а то — один. Такой противный господин.
Бандит в гороховом пальто. Катись, приятель. Ни за что.

Откуда знаешь ты, что швах мои дела, что я привык
Копаться в выцветших словах — слепых, глухих,
полуживых?
Я столько раз давал зарок, от черных воронов-ворон
Отделавшись десятком строк, на давний выскочить
перрон —

А там по-прежнему зима, старуха с тяжким посошком,
Знай сыплет снегом задарма и не жалеет ни о ком,
Там без меня который год кассирша сдачи не дает,
И лунный свет в районный суд в дубовом ящике несут —

Там время движется к концу и умирает без труда,
А мне и бархат не к лицу, какой я Гамлет, господа.
Одна печаль — дурной зрачок. Вот-вот затянет, завлечет,
И бросит, весел и рогат, в свой костоломный агрегат —

И оттого-то в гиблый час, когда мутнеют зеркала,
Когда граверу метит в глаз гравировальная игла,
Вдруг понимаешь, что прошла. Без всякой злости, просто
так —
Глотком случайного тепла, да гомоном голодных птах.

Иной искатель чаши с ядом
Давно метнулся и затих,
А я, смотритель поздним взглядом,
Оценщик далей золотых,

Пожалуй, только от испуга
Не верю бритве и ножу,
И ночь веселую в подругах
По старой памяти держу.

Поют часы, стучат колеса.
Разлука, лестница, привал.
Лиловый голубь это просо
Давно уже отгоревал.

Давно в истоме законной,
Внизу и справа, погляди,
Стоит прохожий незнакомый
С открытой раной в груди.

Давно голубка ворковала
И била крыльями в стекло.
Так нелегко, и небывало,
И даже, кажется, светло.

А стук часов все чаще, чаще,
И, может быть, в последний раз
Настоем осени горчащей
Господь отпаивает нас.

2 сентября 1986

Бродят звезды по проселку
радужным огнем.
Сердце любит втихомолку
отражаться в нем.
Закатиться детским плачем,
и стучать едва,
чтобы к песенке незрячей
подобрать слова.

Кто-то в гнездах, кто-то в норах,
а у нас с тобой —
ежевичных листьев шорох,
водоросли, прибой,
Влажный ветер в латах грозных,
в голубой пыли,
запутал в прибрежных соснах
на краю земли.

А волна идет на убыль,
отступает вдруг,
но опять стыдятся губы
складываться в звук.
Так и бродим наудачу,
и друг друга ждем,
где лицо в ладони прячет
город под дождем.

И глядит зрачком морозным
из-под тяжких век
бесприютный, несерьезный,
старый человек.
Он не лечит, и не учит,
снится налегке,
поворачивая ключик
в сломанном замке.

Незаметно гаснет свечка.
Спи, любимый мой.
Потеряется колечко
по пути домой.
Пусть во сне твоём, в хрустальном
оклик звезды
блещут зеркальцем гадальным
Чистые Пруды.

Ванкувер, 12 сентября 1986

Ворованный ветер. Разомкнутый круг.
На нитке натянутой — первый паук.
Стрела улетела. Расслабился лук.
И вырвалась птица из рук.

А дома — разор, трепетание крыл,
Раскрытые двери, балкон без перил.
Пора повторяться, светиться, играть,
И плакать, и жизнь укорять.

Летит паучок сквозь предутренний дым,
Несытая чайка тягается с ним,
И с бережным ветром, томясь и спеша,
Ликует паучья душа.

Что бабочке — свечка, что нитке — игла.
Незванная осень темна и светла,
И в горле у города свежая мгла,
И два деревянных крыла.

. . .Под утро сердце совершенно
сойдет с ума, и самолет,
безвременный и неизменный,
от горизонта отплывет,
вскричит, пошарит по карманам,
и вдруг, с пропеллером в руке,
над одиноким океаном
пойдет в последнее пике.

Где он? Он там. Где там? Далеко,
где строит ветер без труда
неразрушимые до срока
предгрозовые города,
то выше засвистит, то глуше,
а ниже — праздный пешеход,
пугая чаек, через лужи
с монеткой греческой бредет.

Все это будет — или было,
а конопляные поля
цветут, и чувствуется сила
в ленивом беге корабля,
и вниз — близка ли, далека ли —
держась за шарик надувной,
летит по страшной вертикали
воздухоплаватель иной —

не вдохновляйся, не завидуй,
не отводи остывший взгляд.
С такой свободой и обидой
леса прибрежные шумят,
и пешеход, беззлобный странник,
глотнув сырого ветерка,
дни, как песчинки, собирает,
и сторожит, и провожает
заплаканные облака.

О чем шумит? о чем бормочет,
когда по берегу прибой
волочит крылышко сорочье
и сердца слепок восковой?
Да так — стоит с тетрадкой школьной,
и видит собственным горбом:
чернеет парус треугольный
и умирать ему не больно
в тумане моря голубом.

Сквозь усталость, до смертного пота. . . Пробормочешь
такое во сне —
и проснешься. И выкрикнешь: кто там в темноте
прикасался ко мне?
Успокойся. У двери такие, брат, сугробы, что выхода нет,
никого, и до самой России только звездный рассеянный
свет

долетает. И снова невидим. Беспокойство сплошное. Но я
не в обиде, совсем не в обиде, не в претензии даже, друзья.
Было время для фокусов пылких, было — рвать
вольтижерскую сеть,
и глотать цирковые опилки, и в сияющий купол глядеть.

Было, было желание славы, гиацинта в петлице, красот
театральных, и страсти лукавой. Повезет, уверял,
пронесет.
Было всякое. Плавало слово в синем море, и плакало
зря,
пустячком, огоньком бестолковым за окошком
подвальным горя.

Снова мучает, дразнит — и сразу исчезает в метельном
дыму.
Помолись за него. Две-три фразы, или меньше, неважно
кому.
Пусть, ныряя по собственной дури, подо льдом
выпрямляется в рост
в неоплатной берлинской лазури, в дальнобойных
промоинах звезд.

Один не услышит, другой не поймет. Имбирь да корица,
рождественский снег
сулят обывателю добрый ночлег. Не сахар, подружка,
не сахар, не мед.
Дай Бог ускользнуть по безмолвному льду, два слова
сказать, и прибавить одно
единственное, замерев на ходу, чтоб боль отпустила. Не
все ли равно?
Спросонок, как провинциальный баптист, до самой
могилы не знающий, как
толкуется крик на иных языках, я снова пушусь
в бормотанье и свист,
и вздрогну. Неужто вокруг — на века — безлюдная
музыка чернови ка,
предпраздничный вечер, пустые труды в случайном
луче неурочной звезды?

Душа обветшала, и тот матерьял, который портной на нее
подбирал,
топорщится, морщится. Вылезший мех — одно
безобразие. Курам на смех
задумался глупый чиновник, шинель ощупывая.
Понемногу метель
скрывает дома, фонари. На ветру погасшая трубка чадит,
и горчит
табак, и похмелье в немилом пиру в висок полоумной
мигренью стучит.
И собственной кровью наполненный шприц, пройдя
через гарь городов и границ,
не лечит. Грабитель, гуляя во тьме, лепечет дурное себе
на уме.
Чья речь заблудилась? Чья — пробует всласть горящей
стрелой взлететь и упасть?

Житуха, разлука, чердак да подвал. Осенняя твердь,
голубой керосин.
Кого ненавидел — того целовал, а дальше молчал, ни о
чем не просит.
Я парень простецкий, себе на уме, мне тесно и ветрено
стыть на холме,
и небо саднит. Задуваю свечу, во сне распеваю,
а в жизни молчу.
И чей это голос! Конечно, не мой. Горбатый старик
в папиросном дыму,
он тоже томился воздушной гурьмой, но понял. А я
и умру — не пойму.
Век буду за сердце ладонью сухой хвататься спросонья,
и воду толочь
в ворованной ступке, случайной строкой пропарывая
американскую ночь.

Шей, мастер, глотая булавки. Я сам вгрызался, бывало,
в холщовые швы,
и ножницами припадал к небесам, подошвами пробуя
камни Москвы,
свободы страшился, чурался труда — а что я умел?
и умел ли когда?
Дай выйти на воздух. Трезвея, узнать в конце переулка,
над снежной горой
вполсилы горящую рыжую прядь рассвета. Ни первой
тебе, ни второй
попытки. Должно быть, друзья мои там — закройщик,
стекольщик, сапожник, босяк —
заждались. Постой, я им тоже подам свой
косноязычный, растерянный знак —
и город исчезнет в метели. И речь шинелью ворованной
свалится с плеч.

V

„Вот церковь, — я сказал, — Петра и Павла. Она давно заброшена. Когда-то в ней овощи хранили, а потом решили клуб открыть, однако быстро одумались — ведь кладбище вокруг. Перепахать хотели, но, как я слышал, районный эпидемиолог не разрешил. А кладбище и клуб две вещи несовместные. Хотя, — я засмеялся, — под иным углом мне вся моя отчизна предстает огромным сельским клубом, в бывшей церкви, на кладбище. . .”

Я долго рассуждал,
но спутники мои не улыбались.

И, обойдя несчастную церквушку, мы замерли. В одном окне была проломана решетка. Я, подставив какой-то ящик, подтянулся на руках и стал протискиваться в дыру. Там нехватало одного, от силы двух железных прутьев, так что и при моем — весьма субтильном — телосложении было трудно. Оцарапав бок, рассадив ладонь, переводя дыхание, я все-таки пролез в просторный полумрак, и спрыгнул на пол, и руки отряхнул. Запахло мглой, гниением и пылью, голубиным

пометом, запустением. Иные из фресок расплылись, другие были попорчены зубилом. Однорукий Христос (реалистического стиля начала века) шествовал по водам к пустой стене, где красовался ветхий обрывок ситца с надписью „Да здра. . . ” Печально стало мне. Я крикнул — Эй, эгей, сюда! — но спутники мои не захотели выпачкать костюмов о кирпичи, о штукатурку, о порядком проржавевшее железо разломанной решетки. Лишь один, когда я лез обратно, вдруг взмахнул рукой и щелкнул кодаком. Спустившись, я тоже засмеялся, увидав большую надпись ХОДА НЕТ над самой решеткою. Занятный вышел снимок, особенно уместный в этот день, замысленный, как некое прощанье с отечеством.

Впоследствии мой спутник признался мне в письме, что наш поход несколько не понравился ему, скорее озадачил, лишний раз заставил думать о юродстве русских, скорбеть, что в бедном этом государстве заброшенных церквей, забытых кладбищ с бумажными цветами на могилах сто лет пройдет, и триста лет. . .

Но впрочем, писал он в заключение, я рад, что сделал этот снимок. Прилагаю.

Я сохранил его. Цветное фото, фигурка диссидента, и решетка, и надпись черной краской — ХОДА НЕТ, и яблоко зеленое на чьей-то могиле безымянной. . .

Неясное небо, летящее вбок,
подобно стальному ножу,
недобрая память, которую впрок
у самого сердца держу,
и ночь, за которую критик меня
уже упрекал, дуралей —
все это мое до последнего дня,
до смертной постели моей.

Пока горемыка, небрит и космат,
рубашу меняет на плащ,
„прощай” — городские осины шумят,
наследницы выцветших чащ.
И мне бы от их ежегодных забот —
сто лет я пред Богом ходил —
но спать не дает мне, и в колокол бьет
звонарь одинокий один.

Гостили в грядущем, любили, вдвоем
в замочную скважину сна
подглядывали, узнавая, почем
беда и сырая весна.
Приблудного поезда ласковый вой,
пространства осеннего крест. . .
И вторит вагонам гусиный конвой,
срываясь с насиженных мест.

Качайся, мой колокол, в ветер и дождь,
не думай, не плачь ни о ком.
Ты слишком высокоую ноту берешь
тяжелым своим языком.
А ты, запоздалая, как ты жива,
о чем твой мучительный труд,
покуда в окошко чужие слова,
что крупные градины, бьют?

То ли выдохся хмель, то ли скисло вино,
то ли муха жужжит у виска.
Есть у времени вредное свойство одно —
на пространство глядеть свысока.

В паутинных углах дорогого жилья
знай талдычит, в глазах мельтеша:
Хороша ль контрабандная участь твоя?
Отвяжись, говорю, хороша.

Отчего ж, донимает, в раскладе таком
не особо вам сладко вдвоем?
Оттого, что другая — с иглой, с гребешком —
в изголовье томится моем.

И как всякая плоть, осужденная ждать
с мирозданием наедине,
загляну ей в глаза, отвернусь, и опять
пустоту обнимаю во сне.

И украдкой зима подступает, как встарь,
воротник роковой серебря.
Недурное наследство получит январь
от стареющего декабря.

И темнеющий запад, блистая тайком
перед тем, как пойти с молотка,
алым шелком затянут, железным серпом
ниже горла надрезан слегка.

А дворами по-прежнему ветер и свист,
пляшут крылья сырого белья.
Ненаглядный дружок мой, осиновый лист,
наострился в иные края.

Собеседник, товарищ, евангельский тать,
хоть из кожи наделай ремней —
только ради Христа, не берись сочинять
послесловия к жизни моей.

9 ноября 1987

1.

Во здравие местной Мэри,
один, без больших забот
у зеркала теплый херес
гостиничный житель пьет.
И градусы все на месте,
и мудрствовать ни к чему —
легко нагрузиться, если
пируешь в чужом дому.

А все-таки неохота,
и хмеля в помине нет.
Он спустится, черным ходом
выскальзывая на свет,
где тянет потом с вокзала,
и медленно сквозь туман
озябшие театралы
расходятся по домам,

где город, горя криптоном,
задумался об одном,
и всадник в плаще зеленом,
в нагруднике ледяном
безмолвен. И злостный вечер
с постылой своей тоской
выходит толпе навстречу
с окраины заводской.

Одно очевидно — осень.
Такая, брат, полоса,
которую в сердце носим,
как старые адреса,
как телефон неточный
на букву Д или Б,
как вексель, давно просроченный,
выписанный судьбе.

2.

Чего тебе надо, друже?
Ну что у тебя в руке?
В неоновой ряби лужи,
как будто в цветном ледке.
Укутавшись в шарф поодаль,
красавчик в расцвете дней
торгует такой свободой,
что лучше забыть о ней.

А ветер кричит — спасибо,
устал, — кричит, — не могу.
И зябнет, и пахнет рыбой,
гниющей на берегу,
и дремлет, бродя по кругу —
наутро ему опять
в Америку, то есть к югу,
озерные волны гнать.

Не выплясалось, не вышло.
Мне слишком знакома та
провидческая одышка
и сразу же — немота,
с которой, под шелест газа
и курево натошак
приходят слова рассказа
совсем о других вещах.

О чем же? Да так — о реках,
о заморозках, облаках.
О грецких, что ли, орехах,
о старых наших грехах,
о кладбище возле рынка,
где нищенка на скамье
некрашеной. О поминках,
антоновке и кутье.

3.

Такое случалось. Часто.
Ремень по-солдатски туг.
Огромные стынут астры
в букетах по десять штук,
и ночь не мычит, не телится,
довольна своим добром,
как уличные умельцы —
сомнительным серебром.

Но тем, кого мучит память,
дозволено, так и быть,
юродствовать, горлопанить,
в отчаяньи стекла бить,
и над уцелевшей чашкой
печалиться, дух больной
толченой леча ромашкой,
пасленом и беленой.

Вот твой перевал. Не здесь ли
к рассвету, Господь прости,
душа перетлеет, если
держать ее взаперти?
Гусиный ли крик, утиный —
кто знает, о чем поет
осеннею паутиной
подернутый небосвод. . .

Так кто тебя ждет? Бумага.
Табак. И еще — перо.
Клубится дурная влага
у выхода из метро.
И пьяный сидит, вздыхая
сквозь сон, на сырой земле —
до утреннего трамвая,
скрежещущего во мгле. . .

Льется даром с языка, мучит и калечит
мурсорная музыка урожденной речи.
Острием карандаша ранит — и отпустит,
затерявшись в ландыше, в заячьей капусте.

Кто польстится на нее? Беспризорной тенью
ищет наказания, просит искупленья.
Шелестит кириллицей, муравьиной кучей,
стелится, не мьлится, гонит прах летучий.

Клюнул кречет кочета, в поднебесье ташит.
Все пройдет, за вычетом кратких и шипящих,
ушлой безотцовщины, тех, что были чьей-то
глухотой защищены от немецкой флейты.

И седому пьянице с горькими устами
детская достанется трубочка в гортани,
да в казенном зеркале солнца отблеск тонкий
на больничном никеле в дифтеритной пленке.

Я мало жил, — вздыхал один пророк, —
и жил в плену, и до костей продрог.
Цветет вода в заброшенном колодце,
и не напиться, Господи прости,
а землю есть, и в стиснутой горсти
сжимать ее — пока не задохнется.

Жизнь просит продолжения. Она
невьносима, медленна, влажна,
то в очереди спит, то поневоле
рассказывает байки о былом,
то, сгорбившись, томится за углом,
то вороном летает в чистом поле.

Подумать только — зла и хороша,
в такую муку обошлась душа,
а все ей тесно в городе и мире.
И спит одна, и тешится одним,
и не узнать, среди каких равнин
упрямицу вспоили и вскормили.

Жизнь просит утешения, а где
возьмешь его? Конвертом на воде
слова мои кружатся, уплывая
вниз по реке. И бывший ветрогон
свистит один, в пальто недорогом
на остановке позднего трамвая.

Застыну у дверей, и вставлю ключ,
(несмелый свет прольется из-за туч),
скрипучую щеколду отодвину.
А за спиной — другие пироги.
Ушли друзья, рассеялись враги,
перевалил мой срок за середину.

Возле башни, у проспекта,
в круглой шляпе страшный некто,
горло кутая от ветра,
крутит старое кино.
Нелегко, неторопливо
тучи тянутся к заливу
в городке, где я давно

не бывал — не пил в подвалах,
не считал закатов алых,
не прощался на вокзалах
ни с друзьями, ни с тобой,
и не брал, почти что даром,
канцелярского товара
в мелкой клетке голубой.

Водный город отдаленный,
камнем перенаселенный,
в призрак собственный влюбленный,
так похожий на Париж. . .
Жили — все казалось мало,
и отчаянно шуршала
в жарких складках одеяла
свидригайловская мышь.

Льется песенка с пластинки.
Помнишь шарик на резинке,
гриб раскрашенный в корзинке,
чью-то ссору за стеной,
мышеловку-живоловку
да пустую остановку
у Фонтанки ледяной?

Где мы были? Что любили?
Погибали, пели, или
вирши детские твердили,
в снег бросали медный грош.

Исчезают губы, плечи,
нет иных, а те далече —
где — уже не разберешь. . .

На востоке стало тесно, и на западе — темно.
Натянулось повсеместно неба серое сукно.
Длиннокрылый, ясноокий, молча мокнет в бузине
диктовавший эти строки невнимательному мне.

Тихо в ветках беспокойных. Лишь соседка за стеной
наливает рукомойник, умывальник жестяной.
Половица в пятнах света. Дай-ка ступим на нее,
оживляя скрипом это несерьезное жильё.

Город давний и печальный тоже, видимо, продрог
в тесной сетке радиальной электрических дорог.
Очевидно, он не знает, что любые города
горьким заревом сияют, исчезая навсегда.

Остается фото пленка с негативом, что черней,
чем обложка от сезонки с юной личностью моей.
Остаются ведра, чайник, кружка, мьльница, фонарь.
Торопливых встреч прощальных безымянный инвентарь.

Блещет корка ледяная на крылечке, на земле.
Очевидно, я не знаю смысла музыки во мгле.
Но останется крылатый за простуженным окном —
безутешный соглядатай в синем воздухе ночном.

Воротиться в родные пенаты.
Что ж, обида не так велика.
Телеграмма летит к адресату —
слово за слово, к строчке строка.
Самого себя ставя в кавычки,
отгоняя кошмарные сны,
человек собирает вещички
в чемодан непомерной длины.

Все в кармане — и паспорт, и виза,
и билет, и другие дела.
Ходит голубь нью-йоркским карнизом,
и закат догорает дотла.
Ходит голубь, и сразу взлетает,
превращается в точку, и вниз
суетливо планирует стая
птиц таких же на тот же карниз.

Воротиться к пенатам и ларам,
и ларькам, и родным небесам,
полыхающим чудным пожаром,
по заветным пройти адресам,
под хмельком, в переулках понурых,
где бесчинствовать ветер горазд,
где колотится мерзлый окурок
о чернеющий мартовский наст. . .

Что мне чудится? Хрип? Или ропот
репродуктора возле виска?
Или конной милиции топот
после проигрыша Спартака?
Скрип качелей? Осипшая пленка
Окуджавы? Филевский фокстрот?
Улетаешь — несется вдогонку,
остаешься — за сердце берет.

Воротиться с гостинцами, ибо,
если пот и молчанье не в счет,
все пространство чужого разлива
металлическим медом течет.
Прозерпина моя, Персефона,
извини, если в чем виноват.
В запотевшие окна с балкона
небогатые звезды глядят.

Помолчим. Все что можно, сказали.
И таксист, многословен и прост,
матерясь и визжа тормозами
выезжает на Бруклинский мост.
Городское сияние во сто
раз умножено в темной воде.
Да и что в этой жизни не остров,
в море, в небе, неведомо где. . .

Вот элемент пейзажа, чтобы унять глаза.
Небо — печная сажа, киноварь, бирюза.
Море — толкнет, обманет, вынесет на песок.
Имя — костер в тумане, вытертый адресок.

Наперекор недоле, смерти наперекос —
пригоршня серой соли, химия вольных слез.
Крымский кустарник тощий, корни, узлы ветвей.
Мне бы чего попроще, вроде любви твоей.

Пригород. Дым древесный, тот, что очей не ест.
Чинный собор воскресный, колокол, медный крест
И от мороки снежной слабых, коротких дней
прошлое безмятежней, будущее темней.

Вот и впадаешь в детство, высветленный зимой.
Время б оглядеться, Господи Боже мой.
Что ж ты, Аника-воин, по молодому льду
бродишь среди промоин, мучаясь на ходу?

Так тишины хотелось — только мешал сплошной
шорох и дальний шелест в раковине ушной.
Это в дунайских плавнях старый Назон поет
физику твердых, давних серо-зеленых вод.

Ну вот и долгожданный дождь,
и одиночества навалом.
О чем ты сам себе поешь,
свернувшийся под одеялом?
Дождь затянулся, посмотри,
он с каждым часом холоднее,
и городские фонари
бегут, вытягивая шеи,
в предместья тесные, а там —
к холмам озерных побережий,
к вермонтским темным деревьям,
где на дороге непроезжей
буксует, заблудившись, джип,
звезда над речкою застыла,
и ты запнешься, еле жив —
все это было. Правда, было.
Осталось выключить мотор,
задраить окна, выпить рому,
начать старинный разговор —
о снах, дождях, дороге к дому.
Все это было, повторю,
уже о стекла билась птица,
пришло — со ссылкой на зарю —
все, что должно было случиться.
И даже осень клонит в сон,
покуда, дворникам во благо,
преподаватель всех времен,
дождь, меланхолик и трудяга,
шумит над городом, и за
его работой жизнь вторая
вдруг исчезает, как слеза,
украдкой вытертая краем
платка, и рядом — никого
родного, кроме листопада.
Платком, а может, рукавом,
я не заметил. И не надо.

Позабыть-позабросить, протиснуться в общий вагон,
с бородатым попутчиком сизый глушить самогон

под вареные яйца, и, пот вытирая со лба,
толковать, что ужасна планида, она же судьба,

и лететь через версты ольхи, лебеды, ковыля,
чтоб лежала пластом безлошадная эта земля,

чтоб в окне вечерующем филин носился, как нож —
на помине нелегко, в ослепшем полете хорош. . .

А еще хороша — заплетаться — страна за окном,
нищетой знаменита, хмельна самодельным вином,

и германец мой, Федор Иванович, друг роковой,
он бы понял меня, седовласой тряся головой,

но вздохнет собутыльник — ему горевать недосуг
над горящим кустом по осенней дороге в Овстуг,

ни тебе иудейских, ни прочих немецких забот.
Хороша отговоркой. . . и выпьет, и снова нальет,

и когда я остыну, и сам-то себе надоем, —
хороша, пробормочет, приезжий, да только не тем. . .

Любовь к поездам — или просто любовь, потому,
что сердце колотится вместе с колесами, сонный
и бережный двигатель, чтоб провожать по уму
темнеющий мир, перелетный простор заоконный,
заросшие просеки, топи, блуждающий свет,
рябины с дубами, по-песенному одиноко
шумящие врозь, голосащие поезду вслед
(а он и не слышит) до самого смертного срока.

Особенно к позднему поезду на Ленинград
(деревья уже облетели, есть чем поживиться
кочующей птице), гду книгу открыв наугад,
читаешь не список утрат, а пустую страницу,
которую можно заполнить негромким пером
и номер проставить. . . а можно — распутицей, грустью
покинутых станций, где тянет сойти на перрон,
с иголкой в груди затеряться в чужом захолустье.

Отечество это огромно, а ты не при чем,
когда бы не изморозь, жизнь в неумелых просторах,
особенно осенью (что там звенело ключом,
оброненным в сумерках? звон превращается в шорох,
и сослепу кажется — вот он, мерцает в пыли.
Ищи — не отыщешь), особенно в общем вагоне
(куда же пропал? или мыши его унесли?)
особенно. . . нет, не хочу, расскажу про другое.

К рассвету на стеклах молочный сгустится ледок.
Зевнет проводник. Хризантема ночная завянет.
Притихнут попутчики — всякий устал и продрог,
иззябся, намаялся, словно в старинном романе.
Ах север мой, север, потерял обратный билет,
снег первый, должно быть, повалит в ближайшие числа,
и кто-то прошепчет сквозь сон: искупления нет,
а я усмехнусь, не поняв очевидного смысла.

Давай, петербуржец, в нелепом своем канотье,
пройдемся по музыке, это, ей-Богу, не больно,
особенно если поверить шипучей струе
в гранитной бутылке, на площади пятиугольной,
где первый с последним встречаются тайно, без нас,
где черною лестницей бродит готический вечер,
особенно в осень, особенно в ветреный час,
особенно к жизни, которой утешиться нечем.

Л.

Что ненавидел, и что любил,
к чему под конец привык
чешуеглазый библиофил,
защитник печатных книг?
И что ему до постылых правд
и вышестоящих кривд,
пока в прохладе бумажных трав
стрекочет старинный шрифт?

Любовь бывает не на живот,
а на смерть, как червь в груди.
Она с автографом, или вот —
прижизненная, гляди.
И если книги все же горят,
то из огня, треща,
еще протянет свой яйцеклад
литера Ц или Щ.

А вы, любители, скажем, псов
и шахмат, не говоря
о собирателях звезд, часов
и прочего сентября?
Я сам когда-то кичился без-
зубцовыми и коло-
ниальными, с синью чужих небес
и саблями наголо.

Все это кануло в никуда,
архив мой плывет вверх дном.
Я стал завистником, господа,
лентяем, хлопотуном.
И наставляет меня втуне
горбатый библиофил.
Дай мне припомнить — кого я не-
навидел, кого любил?

Неслышен шелест засохших губ,
но знают свою судьбу
и страстотерпец, и марколюб
с почтовой звездой во лбу.
Там буквы сложены в слово LOVE,
в тепло отдаленных уст,
и пес ворчит, в ночи услышав
густой типографский хруст.

Года убегают. Опасностью древней
источены зимние дни.
Мечтать об отставке, о жизни в деревне,
о скрипе вермонтской лыжни.
Углы в паутине и в утреннем инее,
у милой растрепанный вид,
сырые поленья стреляют в камине,
и чайник сердито свистит.

Мы с возрастом явно становимся проще.
Все чаще толкает зима
вздыхать о покое, березовой роще,
бегущей по склону холма.
И даже минувшее кажется сущей
находкой, когда у ворот
в заржавленном джипе какой-нибудь Пушкин
цыганскую песню поет.

А что ж не в Михайловском? В Северодвинске?
Не спрашивай. Лучше налей
за то, как судьбу умолял Баратынский
не трогать его чертежей,
как друг его лучший, о том же тоскуя,
свалился, чудак-человек,
последним поэтом — в пучину морскую,
звездой — на мурановский снег.

В вермонтском безлюдье, у самой границы
с Канадой, где кычет сова
о том, что пора замолчать, потесниться,
другим уступая права
на вербную горечь, апрельскую слякоть,
на черную русскую речь —
вот там бы дожить, досмеяться, доплакать,
и в землю холмистую лечь. . .

Взмахом бесплотных рук разгоняя сумрак,
трудится Бог один в мировой пустыне,
и хорошо в угодьях его бесшумных,
где на ресницах тает прощальный иней,
и проступает тонкий, густой рисунок
полузнакомых звезд в недоступной сини.

Спал, и не видел снов, потому что месяц,
словно бескрылый ворон, кружил над домом.
Жил — и не ведал жизни, в невинной спеси
горя не знал — а в горле стояли комом
дрожжи упрямой речи, обрывки песен,
виолончельный стон, воробьиный гомон.

Так и пришла привычка — глаза бояться,
но суетятся пальцы, и чайник стынет.
Так, проморгав последние девятнадцать
лет, не усвоив алгебры и латыни,
ты научился в звездной пыли метаться,
посередине моря, один в пустыне.

Что же опять, как в юности, сердце ноет?
Белоголовый царь в ледяном кристалле
вновь обряжает мир в черное и стальное.
Свиста дуэльной пули, смертного мятежа ли
просит ночной кораблик, сверкнув родною
каплей дождя на одной из его скрижалей?

4 января 1988

СОДЕРЖАНИЕ

„Душа моя тянется к дому. И видит — спасения нет” . . . 5

I

„Ну что молчишь, раскаявшийся странник?”	7
„Осень в Америке. Остроконечные крыши”	8
„Местным жителям вряд ли заметно”	9
„Добрый вечер — или утро?”	11
„Утонул в тумане отчий дом”	12
„Снятся ли сны?.. В переулках оставленных сыро”	13
„Ни месяца, ни звезд в оконной яме”	14
„Кто же меня обзывал мещанином? Похоже”	15
„В детстве мечтал о страховке — отличное дело!”	16
„За ледяною, глубокой Летой”	17
„Привет тебе, Сергей. Я старый плагиатор”	18
„Глубоководною рыбой, хлебнувшей свободы”	20
„Отошли осенние распродажи”	21
„Как и другие романтические штампы”	22
„Сердце хитрит — ни во что оно толком не верит”	23
„Снова осень, и снова Москва”	24
„Отлаяли собаки. Гаснут окна”	25
„А не приедут — что ж, переживу”	26
„Всю жизнь торопиться, томиться, и вот”	27

II

„Погоди у порога”	28
„Такая ранняя зима”	31
„Я уеду, ей-Богу, уеду”	33
„Се творчество! Безумной птицей”	35
„Зима надвигается. Снова”	37
„Ты оглянулся? Не забудешь — дом”	38
„Завидовал летящим птицам и камням”	40

„Жизнь людская всего лишь одна”	41
„Стихи Набокова. Америка. Апрель”	43
„В Вермонте ветрено. Прохлада”	45

III

„Спи, патриарх, среди своих словарных”	47
„Опять в эмигрантском романе”	48
„То ключ, то паспорт потеряешь”	50
„Смотри, любимая, бледнеет ночь, гора”	51
„Что это было — бракосочетанье?”	52
„Все на свете выходит из моды, родная, и мы”	54
„Лишь изредка. Не насмерть, а слегка”	55
„Деревянные дроги”	56
„Ждать проблеска, просвета, отголоска”	58
„...а что дурак, и умница, и скряга”	59
„Горше хины людская свобода”	60
„Экран, и вокзал, и облава”	62
„Развал переулков булыжных”	64
Два стихотворения	65
„Что делать, родная — метельный балет”	67
„Хорошо безруким нищим”	68
„Молчание — тоже работа”	69
„Виноватые ищут полета”	70
„Мне больше не выбраться в город живой”	71
„На что похож? Скажу: на сад камней”	72
„И снова ты один, как десять лет назад”	74

IV

„Не убий — учили, — не спи, не лги”	75
„Дар обнаженный город мой, сна и дождя глоток”	77
„Теплынь, лягушачья слякоть — а утром сулили снег”	78
„Чей за окошком желтый глаз, один, горящий без стыда”	79
„Иной искатель чаши с ядом”	80

„Бродят звезды по проселку”	81
„Ворованный ветер. Разомкнутый круг”	83
„...Под утро сердце совершенно”	84
„Сквозь усталость, до смертного пота... Пробормочешь такое во сне”	86
„Один не услышит, другой не поймет. Имбирь да корица, рождественский снег”	87

V

„Вот церковь, — я сказал, — Петра и Павла”	89
„Неясное небо, летящее вбок”	91
„То ли выдохся хмель, то ли скисло вино”	92
„Во здравие местной Мэри”	94
„Льется даром с языка, мучит и калечит”	97
„Я мало жил, — вздыхал один пророк”	98
„Возле башни, у проспекта”	99
„Восторги, усы, полумаски. Галдит у подъезда толпа”	101
„На востоке стало тесно, и на западе — темно”	102
„Воротиться в родные пенаты”	103
„Вот элемент пейзажа, чтобы унять глаза”	105
„Ну вот и долгожданный дождь”	106
„Позабыть-позабросить, протиснуться в общий вагон”	107
„Любовь к поездам — или просто любовь, потому”	108
„Что ненавидел, и что любил”	110
„Года убегают. Опасностью древней”	112
„Взмахом бесплотных рук разгоняя сумрак”	113

**В 1988 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ
ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:**

Аверинцев Сергей. «Религия и литература»	6.00
Аксенов В. «Аристофаниана с лягушками». (Пьесы.)	10.00
Альтшуллер и Дрыжакова. «Путь отречения»	16.50
Бочштейн Б. «Занимательная кремленология»	9.00
Визель Эли. «Завет» (Роман, 280 с.)	12.50
Горенштейн Ф. «Искушение» (Роман, 160 с.)	8.50
Довлатов Сергей. «Заповедник»	6.00
Довлатов Сергей. «Чемодан»	7.50
Друскин Лев. «У неба на виду» (Стихи)	9.50
Езерская Белла. «Мастера» (Интервью, 120 с.)	8.00
Елагин Иван. «Тяжелые звезды» (Стихи)	12.00
Елагин Юрий. «Укрощение искусств» (Мемуары)	16.00
Еремин М. «Стихотворения» (160 с.)	8.50
Ефимов Игорь. «Архивы Страшного суда» (Роман)	8.50
Ефимов И. «Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущев»	13.50
Ефимов И. «Практическая метафизика»	8.50
Жемчужная З. «Пути изгнания» (Восп.)	14.00
Зайчик Марк. «Феномен» (Рассказы)	8.50
Зернова Руфь. «Женские рассказы» (160 с.)	7.50
Иванов Георгий. «Третий Рим» (Изб. проза)	14.00
Косцинский К. «В тени Большого дома» (Восп.)	8.50
Лосев Лев. «Чудесный десант» (Стихи)	9.00
Лосев Лев. «Тайный советник» (Стихи)	8.00
Мережковский Д. «Маленькая Тереза»	9.50
Павлова Ж. «Императорск. библиотека Эрмитажа»	15.00
Поповский М. «Дело академика Вавилова»	10.00
«Поэтика Бродского». (Статьи, ред. Л. Лосев)	12.00
Ратушинская И. «Сказка о трех головах»	7.50
Ратушинская Ирина. «Стихи»	8.50
Розинер Ф. «Весенние мужские игры»	8.50
Рыскин Г. «Осень на Виндзорской дороге»	8.50
Свирский Г. «Прорыв» (Роман, 560 с.)	18.00
Свирский Г. «Прощание с Россией» (Повесть)	8.50
Суслов Илья. «Мои автографы»	10.00
Суслов И. «Рассказы о тов. Сталине»	7.50
Телесин Ю. «1001 сов. полит. анекдот»	10.00
Тимофеев Лев. «Последняя надежда выжить»	10.00
Троцкий Лев. «Дневники и письма»	12.00
Штерн Людмила. «Под знаком четырех»	8.50
Штурман Дора. «Земля за холмом» (Статьи)	7.00
Шульман С. «Инопланетяне над Россией»	10.00

Заказы и чеки отправлять по адресу:
Hermitage, P. O. Box 410, Tenafly, N. J. 07670, U.S.A.

Офсетная печать и переплет выполнены в типографии New Engl. Publ. Co., 728 Hampden st., Holyoke, MA 01040. Tel. (413) 533-4231.

